

Мартовские дни у Ледовитого океана

(Из записок политического ссыльно-каторжанина)

Я долго не решался отдавать в печать предлагаемые здесь вниманию читателя записки о том, как переживалась февральская 1917 г. революция нами, ссыльными у Сев. Лед. океана и местными жителями. так как записки эти не отличаются художественностью изображения лиц и событий и изяществом стиля и касаются таких явлений, которые не могут быть признаны исторически особенно ценными. И лица, и события, которых мне приходится здесь касаться, такие незначительные, такие мелкие, если к ним применить обычный историко-революционный масштаб, — что кажется напрасным даже самый труд их изображения. Но когда подумаешь над тем, что ни одно историческое событие не вырастает сразу, вне связи с другими, в событие величайшей важности, что оно велико лишь в сравнении с другими, что для оценки революции, её характера и размаха имеет иногда значение на первый взгляд ничтожное явление в общественной жизни, — начинаешь допускать мысль, что для историка и революционного бытописателя могут оказаться полезными и те сведения, которые скопляют современники в отношении самых обыденных фактов. Здесь же, сверх того, речь идёт об условиях огромной исключительности. — побережье Ледовитого океана на крайнем северо-востоке Сибири, полудикое население, трудно вообразимая оторванность от живого культурного мира, своеобразие бытовых условий — и... революция, политическое пробуждение полупервобытных людей. Показать, как вошла в эту своеобразно устоявшуюся жизнь революция, как мы, лишённые возможности активного участия в ней, ссыльные переживали её веяние, — мне казалось делом, далеко не лишним. Вот почему, не взирая на многое, о чём можно упрекать эти записки, — я решаюсь поделиться пережитым с товарищем-читателем.

¹ Михаил Михайлович Константинов, меньшевик, активный работник Иркутской социал-демократической организации 1903-1910 гг., неоднократно отбывавший наказание тюрьмой и ссылкой.

I. Последние из могикан.

Вести о февральской революции в России и официальное уведомление о превращении нас. политиков, из бесправных ссыльно-каторжников в свободных российских граждан застали меня на крайнем севере Якутской области, недалеко от устья реки Яны, в с. Казачьем, обычно называемом Устьянском.

Из политических ссыльных, кроме меня, здесь проживали ещё А.П. Худенко-Волковинский и М.П. Васильев. Все трое мы принадлежали к Якутской колонии политических ссыльных и временно находились здесь на службе в качестве бухгалтеров крупных пушных фирм. Было ещё два-три человека, официально числившихся политическими ссыльными и, также, как и мы, получивших полное восстановление в правах по амнистии. По существу эти люди, типичные представители морально разложившейся части ссылки, ничего общего не имели ни лично с нами, ни с политической ссылкой вообще. Один из них, кажется, даже сопроцессник Худенко-Волковинского. Калугин, проживал здесь уже несколько лет. женился на местной якутке, обзавёлся ребятишками, играл запоем в карты, пил горькую, на всё Казачье устраивал скандалы с своей женой и в довершение всего носил на своём челе старательно скрываемую от мало знающих его политиков позорную печать предателя. Другой, — солдат стодесятник¹ — все свои средства и силы посвятил снабжению местных спекулянтов спиртом из якутского казённого военного склада. Отпуск спирта тогда уже долгое время был запрещён, но несколько крупных краж из якутского склада, по-видимому, открыли «спиртовозам» подходящий источник для снабжения нуждающихся в горячительных напитках северян, — и к этому источнику присосался наш «политик».

Но гораздо колоритнее этих двух фигур был некто Браиловский. Привезли его к нам в качестве пересыльного административного политического откуда-то — из ленской или ангарской ссылки. Не прошло и трёх-четырёх дней, как он уже обзавёлся тут же в Казачьем,

¹ Судившиеся по 110-й статье Свода военных постановлений за солдатский бунт или неповиновение начальству.

в какой-то якутской лачужке, целым заводом для выкуривания «самогона» и совершенно открыто принялся торговать самогонной водкой и менять её на пушнину местным аборигенам, весьма падким до всякого дурмана и карт. К нашему удовольствию Брайловский не пытался даже войти с нами в какие-либо деловые и товарищеские отношения. — тем не менее у него хватало дерзости афишировать себя и местному населению и проезжавшему начальству не иначе как настоящим революционером, политическим ссыльным, принадлежащим к анархистам и т.п. Впоследствии оказалось, что этот «революционер» довольно преданно, хотя и далеко не бескорыстно, служил иркутскому охранному отделению, находясь в среде весьма многочисленной ленской ссылки, откуда он и был почему-то прислан к нам.

Такова была вторая, «неорганизованная» половина ссылки в Устьянске в самый момент революции и нашего раскрепощения. О ней можно было бы совсем не упоминать, если бы не желание точно зафиксировать в отношении самого крайнего пункта ссылки наличность тех же элементов «политики», того же уровня политической организованности, сознания и внешнего поведения, что и в других более значительных пунктах Сибири. Кроме того, вся эта троица официально считалась, наравне с нами, — политической и вместе с нами в праве была воспользоваться и воспользовалась объявленной амнистией и связанными с её практическим осуществлением распоряжениями новой губернской революционной власти. Для нас, организованной части ссылки, не только сохранившей при вите длинным рядом поколений политической ссылки традиций, но и не порвавших идейных и организационных связей с соответствующими партиями, — иметь на ряду с собой официально относящуюся к нам, но фактически крайне чуждую, размагниченную, нравственно павшую часть было всегда тяжёлым испытанием. Так было в ссылке, так было и на каторге. Нередко поведение и образ жизни этих людей расценивался окружающей нас средой как свойственные вообще всей политике, — а так как хамство, моральная разнузданность и преступность таких затесавшихся в политическую среду лиц всегда бывали обратно пропорциональны

их политической устойчивости, — го можно себе представить, какими цветами отображалась вообще вся политика в глазах местного населения, кстати сказать, весьма нуждавшегося в политическом воспитании. Об этом в своё время писалось довольно много. К великому нашему удовольствию, в описываемый здесь период — канун полного прекращения политической ссылки, — повсюду, где оказывались эти две различных среды, население приучилось отличать одну политику от другой, — и быть-может только отдельные лица или кулацкие группы, в целях дискредитации революционного движения, валили ещё всё в одну кучу. На крайнем севере это различие двух составов ссылки было весьма своеобразно уловлено и выражено языком. Дело в том, что по всей якутской области ещё со времён Чернышевского, если не раньше, ссыльные революционеры получили название «государственных». Название «политических» тогда местное население ещё не знало, — это термин гораздо более позднего времени, скорее всего эпохи массовой ссылки после 1905 — 1906 года. Эта же последняя эпоха ссылки дала и особый тип политика случайного, принципиально неустойчивого массовика-обывателя, не интеллигента прежней формации, не рабочего. Очевидно, по сравнению новой ссылки с прежней, от которой ещё до самого последнего времени сохранилось в сознании аборигенов сияние имён Чернышевского, Короленко и многих других, местный язык разграничивал ссылку на «политических» и «государственных». Это различие в терминологии имело для нас большое практическое значение даже, или особенно, тогда, когда объявление амнистии, казалось, стёрло всякие грани между различными группами политических ссыльных и каторжан.

Итак, — мы были не только последним поколением политической ссылки. — но и буквально последними ссыльными в Устьянске. Несмотря на малочисленность нашей группы, оказавшейся в этот момент на устье Яны. — мы отражали в своём составе общие всей тогдашней ссылке различия. С этой «отверженной» тройкой нас буквально ничто не связывало, — мы жили своей, нас интересовавшей и объединявшей жизнью. — они жили каждый по

своему, и каждый своим делом, своей «профессией». Первое столкновение наше с Брайловским и стодесятником-солдатом произошло только на другой день по объявлении амнистии по весьма своеобразному поводу, — но об этом по порядку.

Казачье¹ — полуякутская, полурусская деревушка, имевшая важное для севера значение тем, что здесь были сосредоточены склады и конторы почти всех торговавших на севере фирм. Поэтому и население Казачьего составляли семьи и служащие торговцев, крупных и мелких, в преобладающем количестве пригородные и городские якуты, да объякутившиеся русские. Все они жили повседневными интересами своей торговли и хозяйства, дешёвенькими удовольствиями азартных игр, неизбежными в такой среде сплетнями, пьянством и развратом. Из общему правила не выделялись и местные «культуртрегеры» — поп, окончательно занявшийся спекуляцией, псаломщик, фельдшер, писарь инородной управы и учительница. С мая по ноябрь, т.-е. на целых полгода, — Казачье совершенно замирало, будучи отрезано летними тундренными разливами от редких жилых мест края, с прекращением на это время всяких торговых операций и выездом в Якутск на ярмарку торговых служащих. Только зимой, с приездом торговцев, Казачье заметно оживлялось, особенно в периоды торговых сделок и расчётов с многочисленными, раскинувшими свои сети по всей тундре «приказчиками». Сношения с внешним культурным миром были самые примитивные. Почта приходила один раз в месяц, телеграфа, конечно, и в помине не было. Кое-кто из купцов интересовался рынком и прочими сведениями, получали одну-две газеты, приходявшие из столиц месяца через полтора-два в нормальное время, а в распутицу и того позже. Но и газеты эти служили для обывателя источником интересных, щекочущих нервы пикантных историй, могущих послужить предметом разговорчика от безделья. Так, одно время буквально всех очень занимала нашумевшая в ту зиму история с Гришкой Распутиным, особенно потому, что тут дело касалось верхов и даже самой царицы. Всё, что писалось в столичных и перепечатывалось в провинциальных

¹ Тысячи две вёрст за г. Якутском к северу.

газетах касающееся этой трагикомической фигуры, всё внимательно перечитывалось; из прочитанного высасывались, отцеживались сквозь зубы наиболее остро щекочущие развращённый ум места и бросались в оборот, делались пищей для судов и пересудов, для сравнений и сплетен, — одним словом, для самого главного в общественном и домашнем быту устьянцев, — для «капсе». Но, как уже было замечено, — газеты приходили раз в месяц, — разговоров хватало на несколько дней, — а там устьянцы снова погружали свой ум и тело в домашнее болото и жили ожиданиями новой почты, новой пищи для мозга и языка, новых приятных и острых ощущений.

Правда, и между почтами иногда откуда-то прилетали в Казачье и рассыпались во все стороны от него по якутским балаганам всевозможные слухи, но всё это были ничего не стоящие варианты на, ставшие в том году постоянными, темы — о войне, о наших «победах», о царице, о падении цен бумажных денег, о товарном голоде, о назначении в Булун нового мирового судьи и т.п. Что могло быть общего между этой средой, постоянно окружавшей нас, и нами, — временными здесь людьми, иного мира, иных интересов, чувств, иного склада души? Правда, и обыватель отделял нас: осторожно относился к нашему имени и положению, оказывал большое доверие и питал заметное уважение, что особенно сказывалось в различии отношений его к нам и нашим политическим теньям. Той близости и тех чувств, которые возникали между политической ссылкой и местным населением в других местах, здесь не могло и быть. Смешной казалась бы и тогда, как и теперь, самая мысль о возможности политического воспитания этой толстокожей торгашеской, своекорыстной и тупоумной массы.

И мы жили своим маленьким мирком, старательно отмежёвываясь от обывателя, избегая сношений с нашими «товарищами» по ссылке, напротив, очень занятыми упрочением «пьяной» связи с населением. М.П. Васильев, несколько угрюмый и необщительный, отделившийся от нас ещё и партийностью, как с.-р., был особенно одинок и только изредка, когда, очевидно, тягость окружавшей обывательщины и одиночества становилась для него особенно мучительной, шёл в

нашу маленькую семью поговорить, помечтать, поделиться мыслями.

Зато мы с Александром Петровичем Худенко-Волковинским несли всё бремя нашего отчаянного существования и нашей скорби почти неразлучно, особенно с того момента, когда я окончил интересовавший меня со стороны исследования местного промысла объезд крайнего севера, на что было употреблено месяца полтора¹. Как ни разнились мы с ним по характерам, по привычкам и нашему прошлому, может быть, по всему складу души, — было что-то большее, чем принадлежность к одной и той же с.-д. партии, что бросало нас друг к другу, сближало нас и делало эту близость более товарищеской, более интимной. Жили мы только нашими мыслями, нашими надеждами и маленькими личными страданиями, почти не обращая внимания на окружающую нас среду. В часы досуга мы шли друг к другу, обменивались мнениями по поводу прочитанных книг или газет, или доставляли себе единственное удовольствие в слушании граммофона. Не помню, мечтали ли мы вслух вместе о нашем будущем, выходящем за пределы одного, двух ближайших лет, или жили уже устоявшейся уверенностью в том, что мы здесь вообще залётные птицы. Наступит же в общественной жизни весна, — как любили тогда выражаться, — растопит снега, и вместе с горными ручьями помчимся мы к неведомым далям свободной жизни. С самого лета, как мы покинули Якутск, и до декабря месяца мы не получали почты. Первую почту я получил в новый год, приехав в Алаиху (на Индигирке). Можно себе представить, что испытывали мы в этих условиях полной оторванности даже от Якутска. И с каким нетерпением потом мы ожидали каждой почты, тем более, что одна из первых почт подарила нас сведениями о начавшемся прорыве царского гнойника и больших неудачах на фронте. Мы, как и большинство с.-д. Якутской ссылки, не были оборонцами, не считали приемлемой для революционного социализма империалистическую войну, ненавидели войну, не будучи в то же время и последовательными пораженцами, ибо поражение, по нашему

¹ Результатом этого объезда и моих работ в пушной фирме явилась изданная ГИЗ в 1921 г. книжка «Пушной промысел и пушная торговля в Якутском крае» и ряд больших статей о торговых нравах на Севере.

мнению, могло означать усиление роли одной из империалистических групп, — германской. Война должна быть кончена, — но как? Сепаратным миром с Германией. Но мы в империалистическом зажиме Антанты. Революцией? Мысль отказывалась витать в абстрактных построениях, так как сама жизнь нам, заброшенным чуть не к полюсу, не давала конкретного материала для суждений. Формулу для разрешения этого вопроса, имеющего мировое значение, большинству из нас давали Циммервальд и Кинвраль, — но надо сознаться, не все мы могли её продумать до конца и принять.

Наметившееся на фронтах затяжное состояние, частичные поражения наших и осложнения в снабжении армии учитывались нами как условия, могущие повлечь за собою политические осложнения внутри страны, а это шаг по пути революции, стало-быть, по пути к нашей свободе. Частенько мы в полумраке несменной полярной ночи, которая здесь тянется более двух месяцев, удалялись вдвоём из Казачьего и медленно бродили по окружающим притундренным холмам, покрытым густой порослью, или по пустынной Яне, спорили или мечтали вслух, пели свои родные песни, чуждые этой вечной и холодной пустыне, или отдавали дань нашей любви к прекрасному полярному небу, почти каждую ночь озарявшему нас дивным, не подлежащим описанию северным сиянием. Так проходили месяцы, предшествовавшие нашему полному освобождению.

II. Первые ласточки.

Был конец марта.

Зачарованная сладкими грёзами полярных видений и сказками суровой зимы, убаюканная жуткими напевами седых метелей, тундра спала ещё глубоким-глубоким сном... Спокойной радостью сверкавшее солнце ласкало сонные равнины горячими поцелуями весны, но не могло ещё растопить их ледяной груди, — кругом лежали глубокие нетронутые снега. Только в воздухе разливалась какая-то сладостная истома, чувствовалось тёплое дыхание жизни,

да в ясные дни белоснежные холмы и равнины бросали навстречу солнечным лучам мириады ярких, играющих переливами, цветистых искр.

Медленно и нехотя уходила за океан чародейка зима в пышных одеждах задумчивых голубых полярных ночей, сотканных из ярких звёзд и феерических северных сияний, а за нею ползла лучистая весна, обещавшая так много чудес и радостей.

Но что было до этой прелести устьяицам? Их жизнь катилась изо дня в день обычной колеёй, — и приближение весны мало заметно сказывалось лишь в более оживлённой торговле с приезжающими из своих затерявшихся по беспредельной пустыне балаганов якутами. Но в этом оживлении проявлялась не страсть и беспокойство зовущей к наслаждениям и деятельности весны, а самое прозаическое обстоятельство: приближался конец торгового сезона на севере. Скоро с гор, холмов и самых пустынных равнин поползут растопленные снега, и тундра станет захлёбываться в море снеговых вод, — придётся покинуть крайний север всем, съехавшимся сюда для торговли, картёжной игры и шантажа людям и, собравши богатую жатву пушного урожая, тучей полететь в Якутск для наживы и грубых купеческих наслаждений.

Возвращались из поездок по тундре крупные и мелкие купцы, приезжали приказчики, должники, ямщики, шла лихорадочная развеска, размерка и укладка товаров; велись расчёты. Казачье с каждым днём всё более и более приобретало облик делового северного городишка. Деловитость настолько охватывала всю эту небольшую, сбившуюся в северной «столице» кучку людей, что, казалось, самый воздух все больше насыщался своеобразной торговой ажитацией: «кырса» (песец) и «харчи» (деньги) делали всю торговую и разговорную музыку устьянцев. Все мысли и разговоры, как и все дела, вертелись вокруг этих богов севера, и, казалось, погибни всё кругом, весь мир, рассыпья земной шар и останься только одно Казачье. — никто на это не обратит внимания, никто этого не увидит и не услышит.

Так далеки были в это время от всего мира не только маленькими горными точками разбросанные по белой тундре примитивные якутские балаганцы, но и само Казачье.

Только в первых числах марта, с приходом очередной почты и приездом из Якутска какого-то попутчика, в эти деловые настроения и разговоры тревожным клином врезались новые вести о положении дел в Государственной Думе. Кое-кто из более смысленных и интересующихся доморощенных «дипломатов» заговорили о подчинении министерств Думе; в разговоре у них замелькали и новые слова — «министерства», «ответственные», Родзянко, Протопопов. К Родзянко, а в особенности к Пуришкевичу, как явному участнику убийства Распутина, высказывались большие симпатии. Речи Пуришкевича в Думе об отсутствии у правящей бюрократии разумного патриотизма принимались с должным сочувствием. Истерический Керенский, напоминавший власти об уроках французской революции, и Чхеидзе становились в глазах делателей общественного мнения устьянцев пугалами на всероссийском огороде. Хотели им сочувствовать, — но при случае. Обыватель почувствовал за всем, что вычитал из газет или узнал от других об этом, что-то «неладное», но дальше такого заключения никто из обывателей, конечно, не мог пойти, — и снова скоро всё утрачивало свой интерес, и на передний план выплывали очередные торговые дела.

Но для нас, политических ссыльных, живших лишь по службе злобами устьянского торгового дня и постоянно уносившихся мечтами далеко-далеко к сердцу России, — последняя почта давала так много, сообщаемые ею политические и военные события приобретали в наших глазах такое большое значение! Мы, конечно, сознавали, что газеты, — а их у нас получалось до десятка, — не сообщают всего, что творится на Руси и на фронте, что, наверное, самое главное из всего, чем должны окрашиваться и определяться современные события, просто-напросто под давлением цензуры прячется от взора и слуха российского читателя к выгоде и спокойствию имущих власть.

Тем не менее, все события последнего времени, особенно, когда возьмёшь их в совокупности и учтёшь кое-какие детали, говорили и нашему уму достаточно много и заставляли полагать, что за их видимостью кроется гораздо более важное и значительное, чем кажется на первый взгляд. Мы далеки были от допущения, что в стране, или хотя бы в столицах, народное возмущение, вызванное голодом, войной и политическим беспутством, готово вот-вот вылиться на городские улицы кипящей лавой народного восстания. Но мы не могли не понимать, что в речах Чхеидзе, Керенского и даже Пуришкевича сказывается нечто большее, чем фрондирование Думы. Несомненно, — думалось нам, — что вокруг Государственной Думы, открывшей поход на министерство, творится что-то неладное, о чём, видимо, умалчивает пресса. В Иркутской газете «Сибирь» одна передовица, написанная с заметной тревогой, как будто вскользь упомянула, что в столицах творится что-то крупное, — подсказывалась мысль об уличных «беспорядках», — но о размерах и значении последних мы и не мечтали предполагать. Казалось вероятным, что движение подымается, сдвигает Думу с её подмостков и заставляет её укрепить свою позицию на чём-нибудь более прочном.

Обострившаяся борьба с министерством и двором вокруг вопросов продовольствия и обороны не предвещала сама по себе ничего большего, чем роспуск Гос. Думы, — и нам казалось, что обстоятельства говорят за то, что Дума откажется подчиниться указу о её роспуске, а это, как акт уже революционного свойства, должно повлечь самое крупное и чреватое важными последствиями столкновение, в котором, несомненно, примут участие общественные силы, вылезające сейчас уже на улицу и ищущие руководящего политического центра.

Роспуск Думы был на носу, — и это возбуждало к ближайшим событиям и их развитию особенно обострённый интерес. Дошло до того, что не хотелось ничего делать, хотелось лишь скорей откуда-нибудь узнать, что же теперь творится в стране, распущена ли Дума, подчинилась ли она, поднялась ли рабочая масса столиц и крупных городов.

Тревога и напряжённость ожиданий сделались ещё более острыми и мучительными, когда приехавший из Верхоянска купец-якут привёз отпечатанную в Якутске телеграмму о том, что указом царя Дума распущена.

— А что же дальше? Что же дальше? — тревожно проносилось в сознании каждого из нас.

Ответа получить было негде. Ближайшая почта, и последняя в этом году, могла прийти лишь в начале апреля. Волей неволей приходилось, подчиняясь объективным обстоятельствам, с мучительной тревогой и беспокойством ожидать очередной почты и вместе с тем сознавать, что там, где-то в России, где теперь уже весеннее солнце растопило снега и освобождает природу от зимней спячки, творится сейчас быть может что-нибудь настолько значительное и интересное, настолько важное и для нашего личного положения, что мы и представить себе не в состоянии.

Но вот в благовещение по маленькому Казачьему вдруг, словно рябь по спокойной поверхности озера, пробежали какие-то непонятные, нелепые, решительно всех взволновавшие слухи о чём-то таком, чего никто не мог и ожидать, и что заключало в себе какой-то важный сокровенный смысл. Все поднялись на ноги, оживились, затревожились, покинули обычные занятия. — но никто ещё не знал, как следует, даже просто не знал в чём дело.

— Вернулся из поездки Антипин, — передавалось из уст в уста, — рассказал своим что-то важное, секретное.

А что рассказал — никто не знает.

— Приехал, говорят, ночью. Ужинал. Собрал домашних и приказчиков и что-то рассказывал, но строго-настрого наказал ничего не выносить до поры до времени.

Охватывала мучительная тревога. В чём дело? Что за секреты? Что случилось?

Часов около 10 утра ко мне в контору, где я жил, забегают бывший устьянский поп, заменивший свой сан положением той фирмы, где я служил, и с удивлением и нетерпением, написанными на лице, торопливо и с опаской, — не подслушал бы кто — сообщает, что

Антипин привёз важные новости, полученные им в поварне¹ от курьера, ехавшего из Верхоянска на Булун к председателю с важными поручениями. В чём заключались эти новости, пока не велено рассказывать. Через несколько минут влетает ко мне М.П. Васильев, служивший как раз у Антипина, и, предупредив о желании своего патрона не распространять широко рассказанные им новости, сообщил всё, что слышал от Антипина, который ещё продолжал спать.

— В Петрограде арестованы и посажены в крепость немцы-министры. В Якутск приехал какой-то не то сенатор, не то генерал. Закрыв и опечатал все магазины, разогнал все учреждения. Опечатал окружной суд; посадил в тюрьму губернатора и прокурора; назначил над всеми военный суд. Особенно беспокоится купец за бумажные деньги и хранит про себя ещё что-то. Мало-помалу, пока Антипин спал, вся его конспирация оказалась бесцельной, — и привезённые им слухи расползлись по Казачьему, вызвали тревожное настроение, развязали языки и встряхнули обывателя, имевшего возможность использовать праздничек для уловления влекущих к себе слухов. Люди выползли из своих конур, толкались кучками на улицах и в домах, там, где было больше людей, где можно было ещё что-нибудь понять, узнать. Проснувшегося Антипина позвали к Санниковым, куда больше всего стекалось людей, и заставили рассказать точно, что он слышал от курьера. Антипин повторил то же.

Больше этого и яснее этого он ничего не мог сказать. Но за всем тем, что в его рассказе поражало нас необычайностью, непонятностью и неожиданностью, чувствовалось что-то ещё недосказанное, скрытое, явно или по недомыслию. Никто не мог понять, что же в конце концов кроется за этой, на первый взгляд, чепухой. А что-то кроется — это несомненно.

Приходилось расшифровывать.

¹ Место для ночлегов в тундре.

III. Перед неразрешимой загадкой.

Что наши ожидания каких-нибудь важных событий вслед за роспуском Думы начинают оправдываться — это очевидно. События величайшего исторического значения надвигаются над Россией — это становилось всё более и более понятным для каждого из нас, болевших страданиями измученной страны.

И как мучительно, тяжело и нудно было при этом сознавать своё полнейшее бессилие перед загадкой, которую сплела некультурность севера, дичь и, быть может, ещё веками внедрившаяся трусость. Приходилось ожидать следующей почты, которая придёт через три — четыре недели, или приезда какого-нибудь нарочного или курьера из Верхоянска. И если ожидание это было тревожным для местных обывателей, которые были вышиблены антипинским рассказом из колеи, — то для нас, судьба которых была тесными узами заключена с судьбой России, такое ожидание было невыносимым. Ожидать ещё 3-4 недели и в то же время сознавать, что там, в России и всюду, куда протягиваются культурные пути сношения, телеграф, железные дороги, — давно уже бурлит, быть может, совершенно новая, вольная и здоровая жизнь, ради которой юные поколения России десятилетиями приносили неисчислимые и неизмеримые жертвы, — было крайне тягостно. В сердце гнездилась какая-то жгучая, не дававшая ни минуты покоя, надоедливая тревога, и беспорядочные мысли, далёкие от окружающего, беспомощно бились в мозгах.

Что там творится? Как рождается новая Россия и какие судьбы ожидают её?

Слух об аресте министров, о мало понятных событиях в самом Якутске служил очень острой, никогда ещё не изведанной устьянами, приправой к приевшейся жизни, заполненной бездеятельностью, развратом, азартом, сплетнями и т.п. Обывательщина оживилась; каждый тянулся куда-нибудь, где обсасывались эти слухи, комментировались по-своему. Беспокойство охватило всех, все умы были заняты вопросами:

— Что такое произошло? Что-то будет?

— Пойдут ли теперь бумажные деньги?

— Не упадёт ли цена на пушнину?

Говорили, будто сам Антипин, привёзший этот слух, распорядился по своей фирме быть осмотрительнее с бумажными деньгами, — купцы сразу понизили цены на песца при скупке.

Нам с Александром. Петровичем работа не шла на ум. Хотелось как-нибудь да проникнуть в смысл привезённых сообщений, понять их сущность. Но. что же можно было понять из того, что рассказал сам ничего не понимающий якут?

«В Петрограде арестованы и посажены в тюрьму министры-немцы», — так передавал Антипин. Если это так, значит, удар по министрам, — очевидно, результат роспуска Думы на почве борьбы за подчинение министерства Думе. Но в то же время арест — акт, вышедший далеко за пределы легальности и связанный с применением силы, нарушающий конституцию, акт революционный. Стало быть, в России революция. Но тогда при чём тут «немцы-министры». Может быть, в борьбе с министерством Думой используется «патриотизм», определённая ненависть к военному врагу, разжигается национальная страсть, — тогда, очевидно, переворот скользит по поверхности общества и питается потерпевшим унижение «патриотизмом». Во главе министерства русские фамилии, — как они могли в этой свалке остаться в стороне?

Скорее всего с «немцами» что-то напутано. Тут просто дело касается министров, независимо от их национальности. Тогда опять революция.

О царе ничего не говорилось, — ни слова. Выходило так, как будто вопрос свёлся к столкновению Думы с министрами, и это столкновение не ударяло по царю и короне.

Неужели, — рассуждали мы с Александром Петровичем в своих беспокойных исканиях разгадки, — неужели улица не заговорила, и фрондирование Гос. Думы, шедшее по линии борьбы за ответственное министерство ради большей устойчивости в делах обороны, ограничилось заменой одних министров другими, при чём дело дошло только до насильственного их низложения? Неужели

этот маленький *coup d' état* освящён и самим царём? Опять выходило неладно.

Но особенно ставило нас в тупик сообщение о том, что произошло в самом Якутске. Тут уж, действительно, что-то невообразимое! Подумать только. Кто-то приехал, — ведь приехать в Якутск зимой дело не простое, — только на лошадях от любой ближайшей станции жел. дор. потребуется па дорогу не менее двадцати пяти суток — можно ли было держать в теперешних условиях и способах осведомления эту поездку («инкогнито проклятое!») в секрете? Приехал и совершил огромный по Якутскому масштабу переворот. Вообразите, закрыл и запечатал все магазины, разогнал все учреждения; опечатал окружный суд, посадил в тюрьму губернатора и прокурора, назначил военный суд. Закрыть и опечатать магазины — дело, конечно, нетрудное, если на то есть соответствующие полномочия или силы. Да и в нашем уме такого рода акт, будь он один, сам по себе, — ничего непонятного и невозможного не представлял бы. Мы ведь сами, насколько могли тогда, через прессу настаивали на вмешательстве официальной власти и общественных сил в организацию продовольственного дела; для всех нас были очевидны вопиющие злоупотребления местной власти и безобразия торгашей, своей спекуляцией приводивших местное население в отчаянное состояние, толкавшее ещё в предшествующую зиму 1915 - 1916 г. на форменные уличные беспорядки. Не было бы ничего удивительного в том, что в Якутск приехал какой-нибудь бюрократический ревизор и начал перегибать палку. Но при чём тут разгон учреждений и арест краевой власти — губернатора и прокурора? Это уж настолько сильно, что похоже на революцию. Но разве революции делаются приезжими «не то сенаторами, не то генералами»? Если отбросить приехавшего «не то сенатора, не то генерала» то в таком случае и опечатание магазинов, и разгон учреждений, и арест губернатора и прокурора, и «военный» суд над ними, — всё станет понятным только как результат народного возмущения, восстания, революции, как «плебейский способ расплаты с угнетателями». Если это не чисто местный акт, и

если он находится в какой-либо связи с тем, что говорится о Петрограде, — тогда наша мысль опять упирается в революцию.

Революция. Но какая? Каковы её формы? Каковы её размеры?

Как бы это скорее определённо узнать, что же такое происходит там далеко от нас, на широчайших равнинах необъятной России.

Что происходит сегодня, что ожидает нас завтра?

Так беспомощно билась наша мысль и не могла подойти к решению ужасной загадки.

Только М.П. Васильев находил в себе достаточно сил, чтобы кое-как вести необходимые по службе занятия. — мы же с Александром Петровичем занимались через силу, то и дело рвали занятия и торопились скорее встретиться и ещё и ещё обменяться мыслями по поводу мучивших нас предположений.

Может-быть, многим из тех, кто жил в то время, в первые дни революции, по отдалённым, но не настолько, оторванным местам, не в таких условиях изолированности от центров культурных сношения, в каких находились мы у Ледовитого океана, всё, о чём я только что говорил, покажется странным и непонятным. Но именно поэтому-то я сравнительно так подробно и пишу сейчас об этом, стараясь по сделанным тогда же заметкам воспроизвести всё в том именно виде, как это представлялось, мыслилось и говорилось тогда, не перенося ни капли позднейших, а тем более теперешних представлений и понятий о совершившемся. Пишу затем, чтоб показать, насколько своеобразно воспринималась уже свершившаяся революция и в каком виде она представлялась людьми, оторванными от действительных событий, образующих революцию. Я знаю, что нас могут понять только те, кто находился хоть отчасти в таких же условиях, как мы. Наше положение было бы значительно проще и легче, если бы не эта, как позднее оказалось, извращённость представлений полудикарей, помешавшая им не только понять, но и приблизительно правильно отпечатать в своём мозгу происшедшие в Якутске события.

Так мы и не могли ни до чего додуматься.

Дня через два-три пришла разгадка.

IV. Манифест привезли.

Был, кажется, какой-то праздничный день. А. может-быть, сохранилось только впечатление праздничного дня. Но хорошо помню, что ни я, и никто вокруг меня не работал, не бегал, не суетился. Я чувствовал себя после всего пережитого крайне расслабленным, ко всему равнодушным и в забытии лежал на кровати.

Вдруг моё безмятежное состояние было прервано каким-то беспорядочным шумом в соседней столовой, и ко мне в комнату вбежал запыхавшийся, бледный, едва переводящий дух Александр Петрович.

— Манифест привезли! — выпалил он с большим трудом. Вставайте, бежим в управу. Приехал нарочный, курьер. Там уже народ сбегается. Говорят, что и царя уже нет, не только министров.

Странное дело. В первое мгновение всё это мне показалось только шуткой, или уж просто не верилось, тем более, что это сообщение было более сногшибательное, чем первое. Я равнодушно и недоверчиво посмотрел на Александра Петровича, не желая менять своего положения на кровати; мне показалось, что он «берёт меня на пушку».

— Ну, ерунда. Это уж совсем выдумка. Бросьте, — промычал я.

Сообщение, действительно, было неожиданным и как-будто мало вероятным, — но где-то в глубине души покоилась неоформленная мысль, — «а вдруг это так», — и хотелось, чтоб это было именно так.

По выражению моего лица Александр Петрович заключил, что я ему не верю, и настойчиво подчеркнул:

— Что курьер приехал и привёз какие-то вести, — это я видел своими глазами. О царе слышал только от других. Но... идёмте; ведь, нужно же знать, в чём дело.

Я поднялся, и мы направились в инородческую управу, где толпилось уже до двух десятков устьянцев, по преимуществу «верхов». В управе, куда зашёл с «бумагами» курьер, находился вершитель судеб устьянского улуса, инородческий писарь и улусный голова. Двери были заложены изнутри; никого не впускали. Толпа

нетерпеливо заглядывала в окна, толкала двери, ходила вокруг управы, но не решалась потребовать, чтоб отворили. Наше появление несколько ободрило обывателей; все заговорили, что, по-видимому, что-то важное привёз курьер, не скрыл бы этого писарь, пользовавшийся вполне заслуженной репутацией жулика, взяточника и хама. Александр Петрович быстро вывел всех из затруднительного положения, решительно заявив:

— Идём через заднюю дверь, а если и там заложена, — выставим!

И он вторгся в сторожку, затем в сени, и через несколько секунд мы всей гурьбой оказались в помещении самой канцелярии, где находились только курьер, привёзший бумаги, голова и писарь. Последний беспомощно сидел посреди комнаты с бумагами в руках, опущенных на колени, и виноватыми глазами скользил по вбежавшей толпе, впереди которой высилась внушительная фигура Александра Петровича. Минута была знаменательная. Говорил и действовал за всех Александр Петрович.

— Что вы тут хотели скрыть от народа? — сурово обратился он к писарю. Тот в ответ безмолвно и покорно протянул Александру Петровичу всё, что он держал в руках. Александр Петрович трясущимися руками выхватил верхний лист бумаги, тяжело втянул в себя сдавленной грудью воздух и начал читать манифест Николая об отречении.

Трудно сказать, что переживал каждый из нас в эту минуту. Трудно даже описать, что происходило в самой комнате.

Одно было ясно, — всё внимание было сосредоточено на Александре Петровиче, читавшем манифест. Но бедному Александру Петровичу, страдавшему сердечной болезнью, не удалось дочитать манифеста, на каждом слове он останавливался, вбирая в себя воздух, старался уравнивать дыхание, но всё же не мог совладать с собой и со своим сердцем и бледный повалился мне на руки, едва не лишившись чувств. Манифест выхватил М.П. Васильев и стал громогласно продолжать чтение, а я усаживал Александра Петровича и старался поддержать в нём, как мне казалось, маленький остаток жизни. Страшно было в такую минуту думать о том, что вокруг нас витает смерть, готовая в любой момент выхватить от нас

намеченную жертву. Я знал, насколько физически слаб и исстрадался Александр Петрович, так много переживший за эти годы каторги и ссылки, — и мне хотелось в эту минуту только одного, чтобы он как-нибудь да перешагнул через опасность смерти, а там, — а там уж мы все вместе встретим новую жизнь и полной грудью вдохнём в себя свободный воздух родных полей и лесов. Я сам переживал такое состояние, как-будто тяжёлый камень навалился на грудь, сдавил сердце и мешал вырваться оттуда какой-то большой — беспредельной радости.

Александр Петрович приходил в себя, начинал ровнее дышать, но на лице всё ещё лежала мертвенная бледность. А чтение манифеста открывало перед нами всё новые и новые перспективы. Отрёкся Николай за себя и тут же за сына, власть ещё за Михаилом, но вот и его манифест, — отрекается и передаёт власть новому правительству, обязующемся созвать Учредительное Собрание на основах всеобщего, равного, прямого и тайного избирательного права. «Учредительное Собрание» на основе и т.д., наша мечта, наша революционная программа!

«Революции, — говорил Маркс, — это локомотивы в истории». В эпохи революций история уходит вперёд гигантскими, семимильными шагами. В один год, даже месяц, люди переживают столетия, делаются на много старше и опытнее, духовно перерождаются. На этом пути головокружительного продвижения вперёд далеко позади остаются прежние намерения и цели, прежние идеалы: повергаются во прах старые кумиры, поднимаются и скоро падают новые; быстро, словно перед мчащимся поездом, раскрываются всё новые и новые перспективы, развёртывается бесконечный свиток сменяющих друг друга исторических событий. Всего несколько дней прошло после описываемых здесь событий, как уже революция, устами своего гения, — Ленина, — сказала новое слово, «вся власть советам», — а через несколько месяцев запоздавшее своим появлением на свет Учредительное Собрание позорно убегало от революции, сама политическая идея Учредительного Собрания осталась лишь в тупых головах

ретроградов, да полинявшее знамя его было поднято из грязи руками вековых душителей народа.

Но тогда... Нужно мысленно отрешиться от семи лет революции, потрясшей целый мир, и унести в это невозвратное прошлое, в пережитые всеми нами условия борьбы, чтобы понять, что значило тогда для нас Учредительное Собрание, и какое впечатление могло произвести на нас в описанной обстановке официальное решение созыва Учредительного Собрания революционной властью. Теперь как-то даже неловко говорить об этом, — но «из песни слова не выкинешь», — и в истории «всякому овощу бывает своё время».

Толпа устьянцев, заполнившая всё помещение и тянувшаяся через сторожку на улицу, стояла подавленная неожиданно обрушившимися сведениями о событиях, понятным смыслом которых было одно: теперь царя нет. За манифестом следовало объявление всем политическим полной амнистии. А там ещё и ещё официальные предписания, постановления, но уже местной якутской областной власти. Смысл и содержание происходящей за много тысяч вёрст от нас революции теперь становились всё яснее, вырисовывались рельефнее, определённое: во главе якутской власти стоят наши партийные товарищи из якутской ссылки. На бумагах подписи Г.И. Петровского, Охнянского, Орджоникидзе, мелькают имена Ярославского, Перкона, Виленского, Олейникова.

— Все наши, — невольно вырывается у меня.

Местной власти предписывалось, оставаясь впредь до новых распоряжений на местах, всецело подчиниться новой власти, выполнять беспрекословно все её веления под страхом ответственности перед революционным народом. Предлагалось объявить всем политическим ссыльным декрет об амнистии и принять немедленно меры к их выезду.

Какими глазами смотрели на нас в это время бедные устьянцы! А в особенности почувствовали себя окончательно поражёнными голова и писарь. Что осталось от их бывшего величия и неограниченной власти? Что они теперь без царя и министров? Особенно должен был себя почувствовать низвергнутым с огромной высоты в пропасть инородческий писарь. Теперь уже нельзя будет творить свою волю,

как можно было всего несколько минут назад. Почва уплывала из-под ног. А тут ещё эти политики. Теперь они фактическая власть.

Александр Петрович понемногу пришёл в себя, собрался с духом, смог подняться и принять участие в нашем общем ознакомлении с бумагами.

— Что это вы, — обратился он к писарю, когда все бумаги уже были прочитаны, — не думали ли спрятать манифест, закрылись тут на крючок? — Писарь не проронил ни одного слова. Даже голова смотрел на него с сожалением, так он казался убитым.

— Не вздумайте что-нибудь уничтожать из ваших канцелярских управских бумаг и дел, — угрожающе долбил в мозги писарю Александр Петрович, — чтобы скрыть какие-нибудь ваши делишки, всё равно не уйдёте, — хуже будет.

— А что мне теперь делать? — неожиданно обратился к нам сам голова, он почувствовал, что у него теперь нет власти.

Мы объяснили.

Когда мы выходили из управы на улицу, кто-то бросил по направлению к всё ещё прикованному к своему креслу писарю:

— Царя-то теперь со стенки можно и убрать.

Каким, наверное, святотатством казалось всё это обывателям, сжившимся с веками державшимся укладом норм и воззрений.

В несколько минут была пережита целая эпоха, одна из тех эпох, которые на веки оставляют свой след в истории, — эпоха революции.

Не слишком ли это много для слабого человеческого сердца? Нужно было сдерживать себя, отвлекать мысли от своих внутренних переживаний, от того, как неровно колотится сердце, как подступают к горлу ненужные слёзы, стараться не думать о том огромном в жизни, что только теперь, после длинного ряда лет тяжёлых испытаний, открывается перед нами вместе со всей страной, если не с целым миром.

Странно, мы не могли оставаться на людях, не могли быть в этой серой жалкой толпе людей, которым манифесты и предписания принесли лишь новые темы для разговоров, но в жизни которых всё оставалось по-прежнему. Тянуло на волю, на простор. Мы с Александром Петровичем отделились от беспорядочно толпившейся

около управы толпы, спустились с кручи от Казачьего и медленно потянулись вдоль ещё крепко скованной льдами суровой красавицы Яны. Был яркий-яркий предвесенний день. Солнце радостно приветствовало нашу свободу.

«Свободу». Ещё вчера, ещё сегодня утром, даже несколько минут тому назад мы были лишёнными всех прав ссыльно-каторжными, которых любое местное начальство имело право, могло безнаказанно унижать всеми способами, вплоть до порки, согласно положению о ссыльных, а сейчас мы гораздо больше, чем возвращённые «в первобытное состояние», т.-е. получившие прежние наши права, — мы свободные граждане свободной России! Перед нами такая широкая и славная дорога. От одной мысли об этом можно было захлебнуться.

Мы долго ходили по Яне в ярком потоке солнечного света, так радовавшего тундру, убеждали друг друга не думать пока о том, что открывается перед нами в будущем, чтобы не причинять тяжёлых радостных страданий нашим сердцам. И думали об этом, и говорили, говорили без конца.

О чём мы тогда говорили?

V. На новых началах.

Манифесты, декреты, постановления новой в Якутске власти, — всё это, как оказалось, произвело на весь Устьянск, а не только на нас, небывалое, ошеломляющее впечатление. Нечего и говорить о том, что прекратилась на какое-то неопределённое время вся торговая жизнь, — кружившиеся в торговом танце севера устьянцы вдруг остановились и почувствовали себя не у дел.

Но пустота в жизни теперь была заполнена, было о чём и по поводу чего говорить. Только теперь уже нельзя было ограничиться судами-пересудами о том, что произошло, — все почувствовали, что произошло нечто настолько огромное и важное, настолько сложное и малопонятное, что своими мозгами всего не переварить. Нужно куда-то, к кому-то пойти, спросить, понять. Со следующего дня моя квартира превратилась в какой-то странный постоялый двор, куда с

раннего утра и чуть не круглые сутки приходили устьянцы, якуты и немногие проживавшие там русские, купцы, приказчики, служащие и чернорабочие; устраивались вокруг стен и даже на полу посредине, угрюмо сосали свои трубки, плевали и вели прерывавшуюся только на время еды беседу обо всём, что особенно озабочивало практичных людей дикого севера. То я, то Александр Петрович долбили им по их просьбе о том, что такое республика, Учредительное Собрание, всеобщее, равное, прямое и т. д. Всё сделалось актуальным вопросом дня. Если прежде устьянец довольно просто и легко, без особых напряжений ума, «понимал» политическую жизнь, как она есть, или как ему представлялась — с царём, с Распутиным, с войной, с Пуришкевичем, с дороговизной, — то теперь всё, в силу своей необычайности и новизны, наипаче всего, — большой сложности, — стало вдруг совершенно непонятным, даже страшным.

На другой день, кто-то подал мысль устроить «собрание граждан» Устьянска-Казачьего, чтобы все интересующиеся новыми событиями в России могли получить правильное представление о них. Нечего и говорить, что мысль эта была немедленно подхвачена; и достаточно было пяти, буквально пяти минут, чтобы весь Устьянск знал о предполагающемся митинге, — и на маленькую площадь к церкви, где было назначено собрание, стянулись из всех изб и избышек обыватели, — и стар и мал, и богач и бедняк, — послушать, что будут говорить «государственные».

«Ведь теперь ихняя взяла».

Говорили с каких-то сваленных в снег бочек и повозок. Говорили в двух местах по два человека, — один по-русски, другой по-якутски. Но во что превратился бедный, застывший много веков тому назад в своём развитии, якутский язык! Ещё с грехом пополам приспособленный к торговому обороту, к сравнительно однородным и мало распространённым потребностям практического обозначения меновых взаимоотношений, — якутский язык не мог найти в себе оснований для усвоения и обозначения новых политических понятий. «Учредительное Собрание», «республика», «монархия». «министерство», «социализм», даже «право», «всеобщее», «созыв» и прочие пестрили якутскую речь, делая её малопонятной, без особых,

подробно развитых описаний, даже для самих якутов. Но делать было нечего. Полярный обыватель решил на время забыть о своих злобах дня и приобщиться, хоть мысленно, к великим непонятным событиям, происходящим далеко-далеко, за тридевять земель, и нужно было пойти навстречу этому его желанию, тем более, что и мы сами получили впервые за последние 12 лет случай открыто сказать перед кем угодно о наших священных заветах. И странным казался Устьянск в этот день. Впервые тундра слышала политические речи, впервые местные обыватели открыто, «на форуме», сошлись с «государственными» не за общим столом и пустыми разговорчиками, — а за политической беседой, раскрывающей смысл новой общественной жизни, новой истории человечества. Может быть, — думалось мне, — «самой вести смысл покамест тёмен им и ей, но все чуют пред собою зарю новых дней». (Майков).

После митинга, когда мы снова в моей квартире вели беседу, пришёл сам голова и попросил совета. Он стал приходить теперь довольно часто за «советами», — так как нутром понял, что писарь, крутивший им до тех пор. теперь уж больше не советчик. То он спрашивал о том, как быть с налогами, с прежними предписаниями начальства, то о том, власть ли он и не назначить ли новый сбор инородцев и новые выборы, то приносил весть, что писарь, кажется, сжигает какие-то бумаги. На этот раз он пришёл сказать, что «политик» Браиловский теперь, когда объявили свободу, совсем перестал скрывать свой завод и лавочку и открыто гонит водку, открыто зазывает к себе любителей выпить, и у него беспрерывно идут кутежи, шум. драки — это нарушает порядок, а его, — инородческого голову, — он ни в грош не ставит, говорит, что он теперь не власть, что «власть теперь наша», «что хочу, то и творю». Кое-кто из местных заправил, хотя и не менее других падкие до крепкого, но чутьём понявшие потребности нового момента, предложили немедленно закрыть «завод» Браиловского. Нам это было особенно на руку, — нужно же было покончить с этим безобразием, кто бы его ни учинял, — Браиловский или кто другой; нужно было раз навсегда открыто перед всеми доказать, что между нами и Браиловским, тоже получившим амнистию, лежит огромная

пропасть; нужно было дать всем почувствовать силу и значение нового порядка.

И вот компания человек в 6-7, куда входили и мы с Александром Петровичем, изображая новую общественную власть, направились к маленькой избёнке, где помещался вместе со своим «заводом» Браиловский. Войдя в переднюю половину мазанки, где нас встретил сам хозяин «завода», мы попросили показать завод, что и было выполнено с какой-то опаской. Браиловский ввёл нас в заднюю часть помещения, где находились все приспособления — и чаны, и трубы, и котлы, и банки, и ещё какие-то вещи; всё это валялось в беспорядке, было загрязнено глиной; пахло бардой и ещё чем-то. Когда Браиловскому заявили, что мы пришли приказать ему прекратить выгонку водки, он поспешно сказал, что он и так прекратил. Но настойчивый и предусмотрительный Александр Петрович потребовал большего, — по его приказанию, дружно поддержанному всей «народной властью», Браиловский принёс из соседней комнаты топор и тут же на наших глазах, — всё по указанию того же Александра Петровича, — разбил посуду, выдрал самогонные трубки, изрубил их и смял, превратив в негодное к употреблению состояние.

— Всё равно мне теперь всё это не нужно, — заключил, скрепя сердце, Браиловский.

Помню, уходя от Браиловского, мы ему намекнули, что революция «не шутит», особенно с теми, кто прямо или косвенно нарушает «революционный порядок». Наведя у Браиловского «революционный порядок», мы как будто бы почувствовали себя не только удовлетворёнными в достижении цели, но и настоящей народной властью, вошли во вкус и решили наводить порядок и дальше.

В Казачьем постоянно проживала некая Сучкова, занимавшаяся поставкой для всего крайнего севера спиртных напитков. Работа её проходила при дружной поддержке кое-кого из «политиков», частью входивших с нею в родство через её дочерей, и с молчаливого «невмешательства» в её торговые дела местного и окружного начальства. Нам сообщили, что Сучкова не сегодня-завтра получает транспорт спирта из Якутска, — и мы решили в составе той же

общественной власти направиться к Сучковой. Здесь мы оказались в менее выгодных для нашей миссии условиях. Сучкова, делая вид, что она не понимает цели нашего посещения, встретила нас с любезностью обрадованной приятным посещением дорогих гостей хозяйки, провела в столовую, просила сесть и предложила даже закусить. Когда же ей в неловких выражениях высказали, в чём дело, — она торопливо стала заверять, что давно не занимается этим делом, что теперь «не такие времена» и т. п. Сконфуженные неудачей, но уверенные в том, что Сучкова теперь пока воздержится от спаивания якутов, мы уходили к себе домой. На другой день вечером к Сучковой приехал из Якутска спиртовоз, ссыльный солдат-стодесятник, и привёз ей несколько вёдер чистого спирта, разлитого в четвертные бутылки. Устьянские верховоды, в прежние дни сами нередко навещавшие сучковский кабачок, теперь же почувствовавшие «не те времена», явились в ограду к Сучковой и, разбив привезённые бутылки, разлили весь спирт по ограде. Как потом они, наверное, сожалели об этих своих «революционных порядках!».

В один из первых же дней по объявлении о происшедшем перевороте, у нас случилось весьма встревожившее нас, но характерное для местных условий быта и времени событие.

Нужно заметить, что получив сообщение о происходящих в России событиях, о революционном сбросе старой власти, мы с этого момента всерьёз были обеспокоены возможностью на местах, если не контр-революции, в той или иной мере организованной, то просто диких выходов привыкшей к неограниченному господству и самодурству власти. Могло случиться, что исправник, проживавший в Верхоянске, или заседатель, живший на Лене в Булуне, не восчувствуют силы и значения новой власти из каких-то там «государственных» преступников, — и будут продолжать творить своё дело по-прежнему. Благо для этого имеется удобренная почва: вбитая веками в население покорность, грешки мелких чиновников и общественных властей, вроде головы, да в придаток привычное подбострастие к начальству у «верхушек», вроде купцов, учителей, попов. И вдруг нам сообщают, что к управе подъехал из Булуна

недавно назначенный по нашему участку мировой судья Паисий Атласов.

Этот самый Паисий всего недели за две до объявления у нас манифеста проезжал на службу в Булун и подговаривался кое у кого к «подаркам», у кого просил лисицу-сиводушку, у кого песца и т. п. Старый якутский чинуша, он, наконец, добился у старой власти назначения на важный пост в самую щедрую на взятки местность, очень богатую ценнейшей пушниной, и лелеял, видимо, мысль обеспечить себе безбедную старость. Судьба сулила иное.

Неожиданно скорый возврат Паисия Атласова, видимо считавшего себя всё ещё мировым судьёй, очень встревожил и нас с Александром Петровичем и местных обывателей, как будто начинавших сжигаться с мыслью, что старой власти и её агентов уже не существует. Паисий остановился на оленях около управы, но сам перебрался к одному из местных богачей, — куда и направились мы, человек 7-8, наиболее ревниво отнёсшиеся к сохранению престижа революции и защиты новой власти, в сопровождении любопытных устьянцев. Мы намерены были заявить Паисию, что если он явился сюда в качестве судьи по служебным делам, — пусть знает, что он уже не власть; никаких распоряжений его здесь принимать к исполнению не будут, а если он станет переть на своём, — мы его арестуем и доставим в Якутск. Всё это нам представлялось таким важным и значительным. Но в действительности дело было проще и прозаичнее. Паисий, видимо, страшно перепугался, когда увидел окружающую дом, где он находился, толпу людей во главе с нами, и чуть не на пороге ещё встретил нас любезным приветствием и предусмотрительным замечанием, что мы, очевидно, не совсем правильно восприняли его намерение приехать сюда. Наши заявления, тем не менее, были ему сделаны целиком, на что он ответил желанием сегодня же покинуть Устьянск.

— Оленей вам для поездки не дадут, вы должны их нанять.

И на это согласился бедный старик. Только поздно вечером, когда перепуганный Паисий уехал назад в Булун, мы узнали, зачем он приезжал сюда. Несчастный по привычке прежнего чиновника, не делавшего различия между своим карманом и казёнными деньгами,

успел в течение какого-нибудь одного-двух месяцев службы в новой должности «позаимствовать» из отпущенных под отчёт гербовых средств не менее пятисот рублей и теперь, узнав о перевороте и в ожидании смещения и отчёта, не знал чем и как восполнить затраченное. И не дожидаясь этого ужасного времени, он покати́л в Устьянск, где рассчитывал у кого-нибудь из знакомых купцов перехватить на время такую огромную сумму. История с мировым Паисием оставила у всех нас какой-то неприятный горький осадок в сердцах. Правда, мы беспокоились за революцию, но беспокоились напрасно, у старого порядка были только такие защитники, как Паисий. Революция же катилась и здесь победоносной волной, смывая с постов представителей старой власти.

Верхоянский исправник Рындин, пользовавшийся всеобщей и дружной ненавистью всего северного населения, не ожидая роковых для себя и своего мундира событий, спокойно разъезжал в это время по притундренным местам. Казак-курьер, получивший в Верхоянске распоряжение от новой общественной власти, «Комитета Общественной Безопасности», разыскать исправника и объявить ему о низложении, — настиг его где-то в «поварне», в зимовьюшке, какие устраиваются по тундренным местам для ночёвки проезжающих. Войдя в поварню, где в это время сидел за чаем верхоянский исправник, казак решительно подошёл к нему и, не успел несчастный начальник округа осмыслить положения, сорвал с его плеч погоны и бросил их на пол.

— А теперь извольте прочесть вот это, — и подал окончательно растерявшемуся Рындину приказ от новой власти об устранении его от должности.

Сведения о революции, об отречении царя, низложении всей старой власти, словно по радио разлетались по крайнему северу, по всему побережью Ледовитого океана и вселяли в сердца дикарей какую-то тревогу. Любопытно, что сообщения о революции многие из аборигенов приокеанской тундры, наиболее состоятельные, сейчас же связали с возможными судьбами своего имущества. Как сейчас помню, приехал к нам от моря якут Петров, весьма богатый

человек, зверолов и владелец огромного количества в несколько сот, если не тысяч оленей. Он очень «дипломатично» выпрашивал:

— Пойдут ли теперь старые деньги? Могут ли у меня отнять оленей? и т. п.

Видимо, большую тревогу в его собственническое сердце вдохнула русская революция даже в феврале.

VI. К солнцу!

Чуть не в первый же день вечером, после объявления нам амнистии, явился ко мне в квартиру инородческий голова и просил сказать ему, когда мы решаем, воспользовавшись амнистией, выехать из Казачьего. Мы предположили выехать через неделю. Но на другой же день почувствовали, что совершаем большую ошибку, оставаясь здесь на продолжительное время. Нужно скорее собираться и ехать, иначе приближающаяся к югу от нас распутица и вскрытие горных речек могут совсем надолго, почти до середины лета, не выпустить нас с севера, и мы будем обречены здесь на четырёхмесячную оторванность от мира, от революции; мы устраним себя от участия в огромном строительстве революции, когда каждая, даже маленькая, сила должна оказаться полезной, и добровольно обрекаемся на отчаянные нравственные терзания. Нужно ехать скорее.

И первый, кто решительно выразил это требование, был Александр Петрович. Нужно скорее ехать! Предположение наше было изменено, и мы сообщили голове, что готовы выехать хоть сегодня, хоть завтра. Около управы поднялась суетня, — кто снаряжал повозку, кто отправлялся доставать оленей. И то и другое дело не лёгкое, — так что мы ещё протянули в Казачьем дня два, — и, наконец, числа 1-2 апреля смогли выехать.

Новая областная власть в лице Г.И. Петровского и прочих наших товарищей строго настроено предписала местным властям по первому же нашему требованию предоставлять нам средства передвижения, тёплую одежду, пищу, ночлег и даже денежную помощь (в которой мы меньше всего нуждались, так как находились на службе), и все

расходы, произведённые с нашим возвращением, списывались на якутского комиссара. Эта строгость и точность предписания власти, говорившей совершенно иным языком, чем старое чиновничество, как мы везде убедились потом, имело своё действие. Путь наш должен был лежать к Якутску через г. Верхоянск. Ехать приходилось почти до самого Якутска, по крайней мере до Алдана, на оленях и только небольшой остаток пути — на лошадях. Рассчитывать заранее на беспрепятственное получение оленей по нашему требованию в любой момент на «станках» было совершенно неосновательно. да к тому же и количество требовалось значительное. Поэтому мы договорились с властью, что мы трое «государственных» поедem первыми, а остальные, — «политики» — Калугин, Браиловский и солдат. — за нами дня через два. Сборы были небольшие, но крайне тревожные, суетливые. Казалось, все устьянцы принимают в этом участие, — хотя мало кто из них что-нибудь делал, но очень много ходили, суетились, говорили, советовали и т. п. Заботиться было о чём, — приближалась распутица, появлялись опасения, что где-нибудь застрянем надолго в пути. Путь до Якутска и без того далёк, — при благоприятных условиях езды, без задержек днём и ночью, нужно затратить не менее 15 — 16 дней. На всё это время нужно запастись и провизией и подходящей одеждой.

Наконец, всё было готово, и мы с облегчённым сердцем покинули Казачье. Длинная вереница нарт, запряжённых парами оленей, с тремя повозками потянулась через Яну от Казачьего, с корнями вытягивая навсегда из местной жизни чуждое ей и чахлое растение политической ссылки. Вместе с нами уносилась с крайнего севера «романтическая» эпоха «сближения» двух далёких друг от друга исторических культур, — едва распавшегося первобытного и только-что начавшего свою борьбу за место в истории — будущего коммунизма.

Трудно сказать, что думали и чувствовали устьянцы, когда они гурьбой выкатились на крутой берег Яны. чтоб проводить нас и навсегда распрощаться с «государственными». Может быть, во многих из них билось чувство простой человеческой радости, что мы

улетали от них к нашим родным местам и людям, окончив длинный крестный ход на политическую Голгофу. — а многие бессознательно завидовали самому факту отъезда в живые места, хотя бы в тот же Якутск, из этого совершенно гиблого места.

Одни только бывший поп, весь век проживший в Устьянске, как-то проговорился Александру Петровичу:

— Вы вот уезжаете. У вас такая радость, такое счастье. Впереди — какая-то большая жизнь и очень важная, красивая, нужная. Вы полной грудью будете упиваться вашим делом. А мы останемся здесь в пустом месте, — и будем жить всё так же, а, может быть, и ещё хуже.

Он говорил искренно. Но мы знали, что он не годился для иной жизни, кроме устьинской.

Устьянцы оставались на своих местах как обречённые; хуже того: в долгий период политической ссылки они видели всё же иных, чем они, людей, с иным опытом и знанием мира, с иными воззрениями, житейскими принципами. Быть может, многие из них в своих мечтах видели новый мир, иную жизнь. — но «обречённые» оставались на прежних местах. Теперь люди нового мира уходят от них навсегда к новой жизни. Есть она — новая жизнь, но не для устьянцев.

— Милая вы моя, — говорил, как сейчас помню, в минуту откровенных бесед Александр Петрович одной собеседнице, — мы «государственные» — опасный народ; мы отнимем у вас ваших богов, но взамен вам ничего не дадим.

Это могло быть правдоподобным только в отношении самой незначительной части устьянцев, не втянутой в хозяйственные заботы и спекуляцию, — у основной же массы никто из нас никаких богов отнять не мог и не хотел, — и уезжая мы оставили устьянцев с их прежними богами: песцом и деньгами.

Дорога была мучительно тяжела даже для меня, изъездившего по тундре в ту зиму не одну тысячу вёрст. Особенно страдал Александр Петрович, нуждавшийся и в нормальной обстановке, и в диете. Ехали мы и дни и ночи. На каждой станции, как только привёзший нас проводник или ямщик сообщал о том, кто мы и почему мы едем, — недоверчивые и неохотно дающие своих оленей проезжающим, да

ещё без уплаты денег, якуты старались всеми силами оказать нам максимум внимания, любезностей и услуг.

Не могу не рассказать здесь несколько любопытных случаев, очень характерных для тогдашних, возбуждённых известиями о свершившемся перевороте, настроениях местных инородцев, по жильям которых пролегал наш путь.

О революции уж знали по всему пути; и стар и мал, видимо, сложили в отношении её кое-какие взгляды.

Где-то в пути нас догнали уезжавшие с севера в Якутск поп и доверенный одной фирмы и некоторое время ехали вместе с нами. Оленей мы все получали по-прежнему беспрепятственно. Но вот на одной из станций вдруг оказывается, что оленей нет, что они пасутся где-то за десятки вёрст, что за ними далеко идти и что следует всем нам ночевать. Положение становилось не из приятных. Тогда наш возчик отозвал молодого высокого парня якута, держащего станцию, во двор и там, видимо, объяснил ему, кто мы и кто с нами. Через две-три минуты оказались неподалёку олени, — но только в количестве, достаточном лишь для нас, амнистированных. Что особенно поразило всех нас, это — откуда-то пойманное парнем обращение к нам на русском «товарищ». Мы сами тогда ещё не обращались так друг к другу и посторонних просто называли «гражданами».

— Пусть «товарищи» едут, — заявил парень после разговора с привёзшим нас якутом, — а поп да купец могут поспать. *Будет уж, поездили они на нас*, — неожиданно для всех заключил парень своё решение отвести нас и оставить купца с попом.

Для тех, кто незнаком с бытом местных жителей полярной полосы, с внутренними взаимоотношениями различных групп, кто не знает степени и форм экономической эксплуатации купечеством и всякого вида чиновничеством — до попа и учителя включительно, — тот не понял бы всей важности и глубины сделанного парнем замечания. Для нас же это было так понятно. Понятно было и то, что только революция могла развязать язык какого-нибудь «хамначыта» (пролетария) или бедняка, который начинал чувствовать, вернее предчувствовать, крупную перемену именно в отношениях эксплуататоров и эксплуатируемых и становился значительно

смелее. Через какие-нибудь полчаса олени были для нас запряжены, и мы, распроставшись с опечаленными спутниками, снова поехали дальше. Поп с купцом приехали в Якутск значительно позднее нас.

Помню ещё такой случай. Мы ехали уж без «попутчиков». Не доезжая какой-то станции, уже в верхоянских тополёвых лесах, наш возница перепряг оленей, обменявшись с каким-то встречным, который уже и довёз нас до станции. Но когда мы остановились возле обычного, только разделённого на две половины якутского балагана, изображавшего станцию, — оказалось, что и оленей нет и ехать некому. Налицо, правда, были пожилой якут и старик, да очень пожилая седая якутка. Сколько мы ни допрашивали самого хозяина, пожилого якута. — всё было напрасно.

— Таба сох. Оленя нет. Олень далеко. Завтра надо ловить, — твердил якут, и чувствовалось, что это делается по обычной неподатливости, нежеланию покидать тёплый очаг и ехать ночью, хотя и лунной и т. п. Привёзший же нас якут не объяснил, так как ему не было передано о том, кто мы. Положение становилось хуже губернаторского. Наступала оттепель, падал мягкий мокрый снег; не сегодня-завтра поползёт по горам снег, вскроются горные реки, подтает на озёрах лёд, и мы застрянем где-нибудь в горах или под Алданом. Нужно было очень спешить. Долго мы уговаривали якута, — поддерживаемый довольно яро якуткой-старухой, он не сдавался. Наконец, одна фраза выдала его с головой.

— Без платы-то как же. Раз купцы, купцы должны платить.

Всё для нас стало ясно. Тогда Александр Петрович достал из сумки большой вручённый нам в Устьянске с документами конверт, на котором была сургучная печать, и объяснил якуту.

— Мы не купцы, а государственные. Вот «сурук», видишь, печать. Мы едем домой. Ты помогал старому правительству нас везти сюда, к морю, — теперь слушай новое правительство, вывози нас отсюда. Мы едем даром, не платим, — заплатит само правительство.

Якут понял. Оживился. Олени оказались неподалёку, — и он сразу отправился их ловить и впрягать. Старая якутка сделалась сразу любезной, подбросила на холумтан дровец и поставила в пылающий огонь медный чайник с водой, решив нас напоить на дороге чаем.

Чай мы пили все вместе, оживлённо, весело. Старуха принесла даже из другой половины балагана своего годовалого ребёнка, толстого, румяного, светло-русого парня. — «Видишь, мне больше 50-ти лет, — говорила самодовольно старуха, — а я вот какого парня родила». Прямо не верилось. Много шутили, смеялись, говорили о царе и царице, пили чай; собрались в дорогу, — и в глубоких сумерках двинулись в путь.

В первый день пасхи, утром, мы прибыли в Верхоянск.

VII. Первый митинг в Верхоянске.

Как ни спешили мы выбраться из этих гиблых мест поскорее в Якутск, но нам, всё-таки, пришлось задержаться на два дня в Верхоянске. Многие о Верхоянске знают только то, что это «полюс холодов», что здесь зимой морозы достигают до 70°. Но редко кто, не бывший там, представляет, что это за город. После Колымска — это самый северный город, столица Верхоянского округа, прежней Якутской области. Здесь находились, кроме школы, церкви и почтовой конторы, несколько окружных правительственных учреждений: казначейство, полицейское управление, мировой суд и др. Несмотря на это, Верхоянск — самый жалкий из всех виденных мною когда-либо в Сибири захудалых городков. И народ здесь особенно захудалый; мелкие, но заносчивые чинуши, мелкие торгаши, да выродки прежнего якутского казачества, наполовину русского, наполовину якутского. Городишко, может-быть, более населённый, чем Устьянск, но гораздо менее оживлённый, благодаря отсутствию здесь торговли, этого главного нерва полярной жизни. Здесь мы были уже на тысячу вёрст ближе к России от Устьянска, но всё ещё чувствовали себя на крайнем севере, во власти тундры и её стихий.

Впервые за эти дни нашего томительного пути из Устьянска, мы оказались в чистенькой, хорошо убранной полукрестьянской, полумещанской квартирке. Наскоро приведя себя в порядок и поев с дороги, мы поспешили в почтовое отделение, так как имели все основания полагать, что в наш адрес в Устьянск ещё тянутся по почте

письма и газеты. Ведь мы ещё не имели никаких сведений, кроме полученных в Устьянске официальных бумаг, о свершившемся перевороте, об укреплении нового порядка, о войне и пр. Всё это было для нас настолько жизненно важным, что никакая пасха не могла удержать нас от желания сейчас же получить почту. Почтовые чиновники, узнавшие уже о приезде из Устьянска амнистированных «государственных», находились, несмотря на большой праздник, в отделении и весьма любезно согласились осмотреть шедшую в Устьянск почту и выдать адресованное нам. Таким образом, мы получили и письма и газеты. Всё было заполнено сообщениями о происходящей революции, о развёртывающихся революционных событиях и, в частности, о том, что творится в Якутске. Всё это сравнительно хорошо ориентировало нас в происходящем, но, вместе с тем, зароняло в сердца какую-то тревогу, боязнь таких осложнений внутри страны и на фронте, — особенно на фронте. — которые могут повлечь за собой ослабление революции и дезорганизацию и развал её сил. — а это — прямая дорога, если не к реставрации, то к болезненным контрреволюционным потрясениям. Помнится, что все мы были прямо ошеломлены огромностью и значительностью того материала, который принесли нам газеты, чуть ли не за месяц революции. Всё было необычайно ярко, красочно, могуче; чувствовалась великая мощь широко развернувшейся революции; вырисовывались кое-какие новые формы жизни; старое падало, новое подымалось. И теперь ещё не находишь достаточно слов, чтобы выразить тогдашнее душевное состояние какой-то напряжённости, чего-то возвышающего, радостного и вместе тревожного, что наполняло сердце, волновало грудь и кружило голову. При одной мысли о том, что там в России, на родных полях, в городах и сёлах повсюду творится сейчас какая-то новая великая жизнь, и что мы, свободные граждане, можем приобщиться новой жизни, так и подмывало немедленно сняться с земли, отрешиться от всего и вольной птицей умчаться к солнцу, к людям и с головой окунуться в водоворот революции.

Начальник отделения, кажется, член «Комитета Общественной безопасности», предложил нам задержаться на денёк, на два. чтобы

ознакомить верхоянских граждан с тем, что происходит в России, дать им уяснить себе смысл и значение совершающихся событий, глубоко всколыхнувших даже местную жизнь.

— Мы вот тут читаем газеты, — говорил он нам, — приходящие из Якутска, стараемся понять всё, а кто его знает, так ли понимаем-то. Получаем декреты и распоряжения власти, а большей частью и не знаем, так ли надо их исполнять, да и вообще, что делать самим-то здесь, за тысячи вёрст от центра. Все только и живут этими событиями, а понять их, разъяснить некому.

Решено было вечером того же дня собрать верхоянских «граждан» на митинг.

Днём к нам на квартиру приходили местные заправилы, представители «революционной демократии», рассказывали, как у них идут дела, расспрашивали, как быть и т.п. Одним словом, нас превращали в каких-то патриархов, целителей общественных недугов, советчиков в общественных делах. Митинг был устроен в помещении школы и собрал очень большое для Верхоянска количество граждан и гражданок, почти половина которых не знала русского языка, а другая — трудно в нём разбиралась. Несмотря на то, что для верхоянцев прошло уже около месяца революции, это был первый митинг. До нашего приезда некому было побеседовать с интересующимися гражданами по поводу происходящей революции, некому ответить на волнующие всех вопросы политического дня. За день до нас, как оказалось, проезжал кто-то из амнистированных, — это был, если не изменяет мне память, известный в своё время сопроцессник Сазонова, Сикорский, последние годы пребывавший в ссылке в самом отдалённом углу Якутского края, в Колымске; был с ним и ещё кто-то, но, как нам передавали, устроить какую-либо беседу с местными гражданами они отказались, так как-де «мы сами не знаем, что творится».

Перед собравшимися лучше всего было творить по-якутски, дабы дать возможность послушать и понять всем, пользовавшимся в житейском обиходе только якутским языком и слабо знавшим русский. Мы же, знавшие якутский язык довольно поверхностно, пользовавшиеся им преимущественно в обычных деловых

сношениях с местным населением, — не могли взять на себя смелость изъясняться перед собранием на якутском языке. Да и помимо нас, за это трудное дело взяться было тоже некому. Из создавшегося затруднения вышли так, что решили основные речи произносить по-русски и затем повторять их тут же по-якутски. Последнее с большим успехом выполнял один из возвращавшихся с Абые в Якутск довольно развитой и умный якут-приказчик.

Первым говорил Александр Петрович, задача которого заключалась в популярном объяснении того, что такое республика, Учредительное Собрание, всеобщее, прямое, равное и т. д., какие изменения в общественных порядках должна произвести революция. А за ним уже моей задачей было выяснить слушателям, какое значение имеет революция, к чему она ведёт и т.п. Я помню, как живо реагировала даже эта, обычно мало подвижная, угрюмая публика на наши слова об устранении бюрократии и особенно — о допущении женщин к общественным делам. Видно было, что верхоянцы в первый раз в жизни собрались в такой массе и получили возможность говорить и слушать о политических делах. Нас забрасывали после каждой речи вопросами. Наиболее, видимо, практичные местные деятели с особенной настойчивостью пытались уяснить себе, как может быть проведена четыреххвостная¹ система выборов у них в верхоянском округе, — это по необъятному, почти пустынному, с чрезвычайно редким и полудиким населением, крайнему северу, где сношения-то, да и то с большим трудом, возможны лишь зимой, а летом совершенно невозможны. Много интересовались земством без чиновников и т. п., и всё это с практической стороны, применительно к верхоянским условиям.

Сам митинг, как большое сборище вольных, никого и ничего не боящихся людей, и всё, что говорилось на нём, производило сильное впечатление на обывателей. Не только обычная, местная серая масса, но даже и её главари, культуртрегеры края, как бы авторитеты, в роде местной «интеллигенции», и те, видимо, впервые открывали глаза на то, что происходит в России. Никогда не забуду случайно

¹ Так в тексте. — прим. ОСК.

услышанного мною во время перерыва в коридоре разговора по поводу сказанного на митинге.

— Удивительно, — я никогда ничего подобного не слышал. Все эти «Учредительные», «всеобщие», прочее. Как-то живёшь и об этом даже не думаешь, — а тут вот это, оказывается, целый смысл.

Это говорил не больше, не меньше, как заведующий местным городским училищем учитель, не из местных, а русский, назначенный сюда откуда-то издалека. Что давали эти культуртрегеры местному полудикому населению?

Митинг закончился глубоким вечером. Расходились от школы по «городу» кучки возбуждённых, громко говоривших людей. Под ногами хрустели тонкие льдинки и подтаявший снег. Было темно. И тьма казалась ещё глубже от ярко блестевших над головою звёзд.

VIII. Переродились или перерядились.

Внимание верхоянского обывателя, возбуждённого революцией и подогретого небывалым митингом, сосредоточилось в эти первые два дня пасхи на нас. И это вовсе не потому, что вот мы сделали чем-то новым, особенным, представляли какой-нибудь интерес сами по себе. — нет, — здесь революция творила своё великое общественное дело. Мы должны были играть роль каких-то конденсаторов, которым местная революционная среда передавала образуемую путём внутреннего трения революционную энергию различных направлений действия. Весь второй день пасхи, последний день нашего пребывания в Верхоянске, нас посещали официальные и неофициальные представители местной власти, общественные деятели, просто обыватели, водили нас в уездное управление на какое-то собрание, показывали нам различные бумаги, протоколы и постановления революционных органов и т. п. Всё это очень скоро ввело нас в круг местных вопросов и настроений и впервые раскрыло перед нами, правда в маленьком масштабе, существенные язвы февральской революции.

Многим, кто прочтёт сейчас эти строчки, покажется, наверное, смешным, — говорить о существенных язвах февральской

революции, когда слухи о ней только донеслись до Верхоянска, и где могли заметить эти язвы? — в каком-то полуварварском городке, где даже руководители народного просвещения не знают политической азбуки, где люди впервые получают объяснение, что такое республика, что такое земство.

Должен твёрдо заметить, что в настоящий момент я ничего не приписываю прошлым переживаниям, тогдашним взглядам и рассуждениям от современности, не смотрю на прошлое теперешними глазами, видевшими перед собой семь лет величайшей из революций, а фиксирую то, что казалось и было именно тогда и именно так, как было. Да в этом нетрудно будет убедиться и из самих фактов.

Уездным комиссаром Верхоянского округа был назначен некто Попов, бывший помощник верхоянского исправника, вышедший в отставку из-за каких-то неладов с самим начальником округа, исправником Рындиным. Последнее время этот Попов, кажется, принялся вместе со своей женой за учительство. Приняв пост уездного комиссара временного правительства, изображая из себя в прошлом либерала и чуть ли не «пострадавшего», — он, как старый служака, вместе с группой прежних подручных взяли бразды правления в свои руки и повели дело таким образом, что общественным силам, организовавшимся в «комитет» и заявлявшим о своих правах, не давалось ходу. В сущности, произошла маленькая перестановка лиц наверху, — и всё оставалось по-старому. Среди же обывательских слоёв находились молодые и горячие головы, желавшие радикальных изменений во многом, и в своих стремлениях наталкивавшихся на Попова и его сподвижников. Не помню сейчас фамилии молодого резвого русского парня, явившегося к нам для разговора по поводу местных дел. Но живо помню то впечатление, которое он произвёл на нас лично и самим содержанием разговора. Видно было, что даже в Верхоянске, в этом застоявшемся целых 280 лет болоте, революция вызвала к жизни, к выявлению наружу какие ни на есть общественные противоречия. Здесь эти противоречия шли по линии борьбы новой, может быть, ещё только образующейся общественности, живущей местными нуждами и интересами,

бюрократизмом, старым наслоением, не выкорчеванным ещё революцией. Если прежние чиновники стали в марте называться по новому, если даже в среде их, не всегда и раньше дружной, произошли личные перемещения, если они и перерядились наполовину по новому, в новые костюмы, заменив частично прежнюю форму. — кто мог верить тому, что они всем нутром переродились и сделались опорой революции? Недоверие к ним со стороны населения в целом, а особенно со стороны наиболее состоятельных и грамотных местных хозяев, давно сознававших потребность в руководстве местными делами на началах непосредственного участия в управлении, было громадно. А тут ещё налицо явно выраженное желание новых ставленников центра, старых чинуш, оттеснить общественные силы на второй план. Вы, мол, рассуждайте, а мы будем править.

— Почему Попов нас, граждан, не пускает на места в секретари, в протоколисты и прочее, ведь мы можем это делать не хуже старых его крыс. Мы им не верим. А Попов говорит, что мы не сумеем дело делать, что он и его служаки народ опытнее нас, что мы только напортим. Мы говорим: нужно наладить продовольствие, установить цены, нормы и пр., иначе скоро все начнём голодать, а он нам возражает, что от якутской власти таких предписаний нет, а мы не вправе. Рындин ходит на свободе и, чего доброго, снова получит назначение. Вообще, — революцию душат.

Так говорил парень, начинавший нас массой, теперь уже отчасти позабытых, фактических данных, говоривших о весьма сильных обострениях отношений. Нельзя было ставить на постах власти бывших, хотя и либеральных, чиновников, — это чувствовалось определённо, — иначе революции наносился большой изъян. Наш разговор с Поповым и его противниками достаточно выяснил перед нами, какие острые конфликты назревали в маленьком и далёком Верхоянске. И это вселило в нас опять какую-то тревогу, боязнь за революцию. К нам обращались с просьбой уладить отношения, произвести перемены и пр., мы же могли только кое-что посоветовать, да обещать всем довести о местных делах до Якутской власти. В конце концов с нами отправили в Якутск всевозможные

«донесения», постановления, жалобы и т.п. Можно было ожидать в Верхоянске тяжёлых эксцессов с той и другой стороны борющихся, так как территориальная оторванность его от Якутска, мешавшая быстрым действиям власти из центра, должна была усугубиться оторванностью, вследствие начавшейся распутицы и скорого прекращения всяких сношений с внешним миром месяца на три. Мы привезли в Якутск все бумаги жалобщиков, и, помню, по ним было суждение в президиуме «Комитета Общественной Безопасности». Значительно позднее, когда Верхоянск мог послать в Якутск своих представителей, — это уже к концу лета 1917 года. — я узнал, что описанные только что настроения верхоянцев, видимо, вылились в какие-то острые столкновения, которые не могли уже быть решены и в самом Якутске. В начале сентября я получил совершенно неожиданно поразившую меня телеграмму, сохранившуюся у меня ещё и по сейчас: «Константинову Редакция Голос Социал-демократа Иркутск Якутска 9/1X 1917. Верхоянске скандал аресты. Поддержите перед комиссаром ходатайство следствии получите копию телеграммы. Верхоянцы». Тогда же получаю посланную там же ровно через три минуты следующую: «Проехали тысячу вёрст верхами. Два месяца добиваемся следствия с нашим участием, тратим деньги и время из-за борьбы партий. Комиссар озлобился за сношения с вами, на вопрос когда расследует дело о верхоянском заседателе, отзовём ли его по декрету, комиссар ответил: спрашивать меня, представителя правительства не можете; полномочий ваших не признаю. Мы делегаты верхоянского съезда, члены комитета общественной безопасности, работали в Якутском съезде и хлопотали о нуждах перед врачебным отделением и инспектором училищ. Мандаты явлены в бюро. Окажите содействие. Нужна комиссия с равным представительством от советов и партии. Необходимо наше участие: Санин, Новгородов, Слепцов».

Я поставил в известность иркутского краевого комиссара временного правительства А.Н. Кругликова (с.-р.), которым, как мне известно, были сделаны соответствующие запросы в Якутск, но в чём заключалось верхоянское дело и чем оно закончилось, я так и не знаю. Якутским комиссаром, решавшим судьбы революции на

крайнем севере и творившим там суд и расправу по власти, был в то время В.Н. Соловьев, местный уроженец, выученик прежней (до 1905 г.) ссылки, в частности, кажется, И.И. Майнова, бывший перед самой революцией 1917 года тут же в якутской ссылке. Многие беды, пережитые Якутском и областью, как в 1917 г., так и позднее, были усилены и обострены для переживавших их, в значительной мере, тем обстоятельством, что с мая месяца 1917 г. на посту якутского комиссара оказался именно такой человек, как В.Н. Соловьев, соединявший два крайне отрицательных для политика качества, — это принадлежность к правым эсерам и природную умственную тупость с сопутствующей ей заносчивостью.

Из этого видно, как мог воздействовать якутский комиссар на разрешение верхоянского конфликта. А конфликт, видимо, разыгрался скандалом с арестами и пр. — как выражались в телеграмме «верхоянцы».

Перед нашим отъездом из Верхоянска к нам на постоянную квартиру затесался какой-то совсем юный поп, только приехавший из округа и почему-то пожелавший познакомиться и побеседовать с нами.

Мы складывали вещи, а он всё рассказывал о том, как он, будучи в якутской духовной семинарии студентом, интересовался политикой, что-то читал, за неуважение начальства назначен в эту глушь и теперь здесь погибает. Он рад революции, приемлет её и будет стараться к её расширению, — он пойдёт в политики, — только вот его никто не понимает, все смотрят на него подозрительно, не доверяют, а он...

В заключение попик совершенно неожиданно затянул «Отречёмся от старого мира», встал и сердечно попрощался с нами, пожелав нам в путь всего хорошего. Тоже видимо почувствовал, откуда начал дуть ветер, — наверное, позднее перерядился, перелез из поповской рясы в купеческий пиджак. Оно и у Ледовитого океана так-то сподручнее. Эта комичная фигура на фоне революции была так колоритна, что до сих пор ещё не могла сгладиться в моей памяти.

Верхоянские наши впечатления наводили на многие новые рассуждения, — хотя некоторую долю фактов мы относили на счёт чисто местных условий, отсталости культурной, забитости и пр.

Мы спешили покинуть Верхоянск.

IX. Скачки с препятствиями.

От Верхоянска лежал к Якутску самый трудный путь. Трудность эта усиливалась во сто крат начавшейся распутицей, заморозками наледи на озёрах, стоком горных вод по ручьям и ущельям верхоянского хребта. Сверх того и население здесь отличалось несколько иными качествами и отношениями к проезжающим. Нужно правду сказать, — отношение к революции и к революционерам, возвращавшимся из ссылки, было и здесь самое приветливое. Тем не менее труднее было сговаривать ехать ночью или рано утром, — боялись распутицы, скрытых вод и т. п. Как-никак, мы всё же подвигались вперёд среди ужасающих своей громадой и первозданной дикостью верхоянских гор. Поселения встречались чаще, чем на крайнем севере, и население было несколько гуще, чаще попадались встречные. Встретилась почта. Никогда не забуду, с какой тревогой и болью расспрашивали мы почтальона, мало что смыслившего в политических и военных делах, о том, что творится сейчас в России. Особенно имел для нас, как сейчас помню, значение вопрос о положении на фронте. Странное дело, — с тех пор как мы сделались гражданами свободной России и стали жить вопросами политического дня, война и положение на фронте сделались для нас насущными вопросами, заслонявшими собою очень много важных государственных дел.

Мы незаметно для самих себя, — о себе я могу в этом отношении говорить с большим правом, — стали превращаться в «оборонцев», хотя и революционных, болеющих судьбами революции и международной войны. Здесь неуместно говорить, как и почему происходило такое, как бы, превращение. Я отмечаю самый факт такого превращения. Боязнь за исход такого глубокого переворота, за революцию, заслоняла глаза, переставшие видеть в «народе» —

классы, в революции — классовую борьбу, — и всё внимание толкало на внешнюю защиту, на оборону не революции, а революционных достижений, которые казались нам такими громадными, так много дающими для дальнейшего развития «демократии». Поражение на фронте — гибель внутри, — таково казалось положение, вот почему, когда где-то встретившийся на пути купец сообщил нам о том, что ходят какие-то слухи об ужасном поражении наших на фронте, — нас охватило отчаянное беспокойство. Наполовину в шутку, наполовину всерьёз, не веря и веря себе, кто-то из нас даже вслух высказал опасение, — а что если нам навстречу едут уж не комиссары, а прежние заседатели и исправники. Жутко было. А эта оторванность и неизвестность ещё удесятворяла наше отчаяние. Мы с радостью встретили почтальона из Якутска, но с грустью распрощались с ним, узнав, что произошло огромное поражение под Стоходом¹.

Настроение наше падало, может быть, главным образом, вследствие оторванности, неизвестности и усталости от трудного пути.

Дыхание революции всё же нет-нет, да и сказывалось и здесь во внешних знаках. В зимовьюшках для проезжающих кто-то уже чертил карандашом революционные слова и целые лозунги.

Мною занесены были в книжечку:

— Долой Рындин!

— Довольно; теперь прошла ваша пора, кровопийцы!

— Да здравствует бабушка — русская революция!

Тут, очевидно, прилетел один из возгласов, которыми тогда приветствовали «бабушку русской революции», Е.Н. Брешко-Брешковскую, и не будучи понят, выразился в искажённом виде, — революция была устами якута превращена в бабушку.

От Верхоянска до Якутска более тысячи вёрст. Нас пугал Аян, который мог подтаять, дать последнюю воду и не пропустить нас.

Мы спешили. И где-то среди гор попали в «наледь».

Олени, и нарты, и повозки стали тонуть. Сами мы бросились к видневшимся неподалёку берегам, то и дело проваливаясь сквозь

¹ Поражение на реке Стоход, иначе, Битва при Ковеле (24.07 — 08.08.1916) — сражение на Восточном фронте Первой мировой войны, между русскими и австро-германскими войсками, приведшее к остановке наступления русских войск, известного под названием «Брусиловского прорыва». — прим. OCR.

замёрзший за ночь поверх скопившейся воды лёд. Я первый добрался до береговой кручи и в тот момент, когда готов был сделать последний шаг на сушу, — провалился под лёд почти до плеч. К счастью, надетый на мне якутский «сукуй»¹ задрался кверху и задержал дальнейшее движение под лёд. Весь мокрый я выкарабкался на берег и зарылся в глубокий сугроб снега на откосе, спасая себя от резкого и холодного ветра. На моих глазах, пробираясь к другому берегу, «купался» Александр Петрович и за ним Васильев. А якут-возница бродил по воде и помогал вылезать оленям с возками. В результате два оленя все же погибли, остальные еле-еле повылезли, — имущество наше подмокло, якут изрезал себе льдом ноги, износивши за это время свои и мои оленье торбаза. Выбравшись на берег, мы развели огромный костёр, чтобы отогреть возницу, немного отойти от окоченения самим, — и быстро покатали далее к находящейся от нас верстах в 20 станции. Якут-возница сильно поморозил пальцы ног, я отделался отчаянно потрепавшей меня лихорадкой, а спутники мои перенесли купанье довольно легко.

Ничего! — мы жили будущим, и ради него и на пути к нему можно было перенести многое в настоящем.

Самое трудное оставалось впереди под Якутском.

Грязь, езда на лошадях, медленно.

Только поздно вечером 17 апреля мы пешком, рядом с лошадьми, измученные, замызганные грязью приплелись в Якутск.

А на следующий день уже приняли участие в грандиозном для Якутска торжестве международного пролетарского дня первого мая!

OCR Андрей Дуглас

¹ Верхняя зимняя одежда из оленьих шкур, шитая клёшем, с капюшоном.